

ПАНАЕВА

Очерк Корнея Чуковского

Подруга темной участи моей...

Н. Некрасов

Смолоду эта женщина была очень красива. "Одна из самых красивых женщин в Петербурге", - вспоминал о ней граф Соллогуб. "Не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка", - писал такой опытный ценитель, как Фет. И Павел Ковалевский то же самое: "красивая женщина", "нарядная, эффектная брюнетка". И полковник Щербачев то же самое: "молодая, красивая женщина".

И даже близорукий Чернышевский: "красавица, каких не очень много" [224].

Немудрено, что молодой Достоевский влюбился в нее с первого взгляда: "Я был влюблен не на шутку, теперь проходит, а не знаю еще... - писал он впоследствии брату. - Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя" [225].

Двадцатилетний Некрасов тоже влюбился в нее и чуть не покончил с собой, когда она отвергла его. Сколько пламенных стихов в его книге посвящено этой эффектной брюнетке!

Она вечно в кругу исторических, замечательных, знаменитых людей. Они ее ежедневные гости. Герцен приехал из Петербурга в Москву и прямо в ее дом, к ее мужу, - не нахвалится ее гостеприимством: "Она мила и добра до невозможности, холит меня, как дитя", - пишет он из Петербурга жене [226].

Белинский ее сосед и приятель. Он тоже очарован ее добротой: "Попробуйте, - пишет он ее мужу, Панаеву, - попробуйте отдать деревню в ее распоряжение, и вы увидите, что через полгода, благодаря ее доброте и благодетельности, ваши крестьяне... сделаются сами господами, а господа сделаются их крестьянами" [227].

Герцен, Белинский, Достоевский, Некрасов - какие имена, какие люди! И Тургенев, и Гончаров, и Грановский, и Кавелин, и Лев Толстой - все у нее за столом, у Пяти Углов или потом у Аничкина моста, и, кажется, если бы в иной понедельник вдруг обрушился в ее гостиной потолок, вся русская литература погибла бы. У нас не было бы ни "Отцов и Детей", ни "Войны и Мира", ни "Обрыва". Ее гостиная или, вернее, столовая - двадцать лет была русским Олимпом, и сколько чаю выпили у нее олимпийцы, сколько скушали великолепных обедов. Сам Александр Дюма восхищался ее простоквашей.

Те, перед кем мы теперь преклоняемся, нередко преклонялись перед нею. Чернышевский схватил однажды ее пухлую ручку и прижал к своим тонким губам [228]. Ему показалось, что Некрасов оскорбил ее, и, чтобы пристыдить оскорбителя, он с преувеличенной, демонстративной почтительностью приложился к ее руке. Это вышло неуклюже; но и впоследствии, уже без всяких демонстраций, просто по влечению сердца, Чернышевский писал Добролюбову: "Поцелуйте за меня руку у Авдотьи Яковлевны" [229], - и потом, уже в Сибири, вспоминал, что он "принял себе за правило: всегда целовать ее руку. И неуклонно следовал решению". Чернышевский чувствовал к ней большую приязнь. Она крестила у него его первенца, навещала его в тюрьме [230]. Когда, после кончины Добролюбова, он издал сочинения своего покойного друга, он посвятил эту книгу не Некрасову, не братьям Добролюбова, а именно ей, Авдотье Яковлевне, которая до последней минуты ухаживала за умирающим критиком. Вот текст этого посвящения, столь похожего на высочайший рескрипт:

"Авдотье Яковлевне Панаевой.

"Ваша дружба всегда была отрадою для Добролюбова. Вы с заботливостью нежнейшей сестры успокаивали его, больного. Вам он вверял свои последние мысли, умирая. Признательность его друзей к Вам за него должна выразиться посвящением этой книги Вам.

Н.Чернышевский" [231].

Это хоть для кого аттестат. Это величайшая почеть, которую мог оказать ей Чернышевский: начертать ее имя на книге своего любимого соратника. Переберите письма, дневники, мемуары сороковых и пятидесятих годов, вы не найдете ни единого недоброго слова о ней. "Сколько в ней хорошего, - пишет, например, Грановский жене. - В ней много ума и доброты истинной" [232].

Обаятельная, всеми любимая женщина, она вдобавок романистка, писательница. Первый же ее роман вошел в историю: он был запрещен Бутурлиным, знаменитым притеснителем литературы. Книга, в которой этот роман появился, так и не вышла в свет.

Другие два романа она удостоилась писать в сотрудничестве с поэтом Некрасовым. "Боже ты мой, как это хорошо! - восхищался некоторыми местами одного из этих романов молодой энтузиаст Огарев. - Как это из сердца и из жизни вырвано. Как это просто, живо! Я... слушал и заплакал. Я заплакал оттого, что это так юношески хорошо" [233].

Об ее повести "Женская Доля" сам Писарев написал статью. Правда, статья ругательная, но ведь Писарев ругал даже Пушкина! "Отечественные Записки", "Москвитянин", "Библиотека для Чтения" посвящали немало страниц критике ее произведений [234]. Она печаталась в лучшем журнале рядом с так называемыми корифеями русской словесности. Такие поэты, как Некрасов и Фет, посвящали ей свои стихотворения [235].

II

И вот оказывается, эта великолепная женщина была самой обыкновенной воровкой.

Оказывается, она обобрала до нитки доверившуюся ей подругу, ловкой уголовной аферой довела несчастную до нищеты и - что хуже всего, - свалила свою вину на другого, на человека ни в чем не повинного, на того же поэта Некрасова, который был тогда в нее тяжело влюблен и принял все хулы и проклятья за содеянное ею преступление.

Это преступление на всю жизнь опозорило имя Некрасова. Друзья его юности отвернулись от него навсегда. Кавелин даже студентам твердил о бессовестности его поведения! Кетчер прокричал на всю Москву, что он низкий человек, аферист [236]. Герцен иначе и не звал его как "шулером", "вором", "мерзавцем" и даже в дом его к себе не пустил, когда поэт приехал к нему объясняться.

"За это дело Некрасову и тюрьмы мало!" - таково было до самой могилы убеждение Герцена.

И Тургенев, хоть и пробовал сперва защищать его, вскоре повторил вслед за Герценом: "Пора этого бесстыдного мазурика на лобное место!"

И после кончины Некрасова сколько написано книг, где продолжают казнить его за несовершенно им злодеяние. Анненков и в мемуарах, и в письмах клеймит его как ловкого мошенника. В книге Гутьяра "Тургенев", в книге М.О.Гершензона "Образы Прошлого", в "Воспоминаниях" Н.А.Белоголового, в архиве М.М.Стасюлевича, в записках Тучковой-Огаревой и во множестве журнальных статей рассеяны укоризны поэту. А между тем, повторяю, оказывается, что во всем виновата она, эта прелестная "кокетливо-любезная" женщина "с бархатистым голоском капризного ребенка", столь любимая Белинским, Грановским, Чернышевским, Добролюбовым, Герценом.

Мы этого не знали до вчерашнего дня. Ровно шестьдесят лет над нашим знаменитым поэтом тяготело обвинение в мошенничестве, и только на днях мы узнали, что во всем виновата она.

Найдена копия некрасовского письма к этой женщине, посланного из Петербурга за границу в сентябре 1857 года. В этом письме мы читаем:

"...Довольно того, что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя и, конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким-то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: "каким же именно?", я не сумел бы ответить по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих наизнанку и не выдам тебя. Твоя честь была мне дороже своей, и так будет, невзирая на настоящее. С этим клеймом я умру... А чем ты платишь мне за такую - сам знаю - страшную жертву? Показала ли ты когда, что понимаешь всю глубину своего преступления перед женщиной, всеми оставленной, а тобою считавшейся за подругу? Презрение Огарева, Герцена, Анненкова, Сатина не смыть всю жизнь, оно висит надо мной... Впрочем, ты можешь сказать, что вряд ли Анненков не знает той части правды, которая известна Тургеневу, но ведь только части, а все-то знаем лишь мы вдвоем да умерший Шамшиев... Пойми это хоть раз в жизни, хоть сейчас, когда это может остановить тебя от нового ужасного шага. Не утешаешься ли ты изречением мудреца: нам не жить со свидетелями своей смерти?! Так, ведь, до смерти-то позор на мне" [237].

Приведа эти волнующие строки, Мих.Лемке пишет:

"Читатель уже понял ужасную трагедию в жизни Некрасова и оценил его рыцарскую защиту чести женщины и знает теперь истинную виновницу всего грязного дела".

Но неужели после этого письма Некрасов не расстался с ней? Бежал бы от нее без оглядки, но нет, - чуть она вернулась в Россию, они зажили по-прежнему втроем: она, ее муж и Некрасов. Теперь они поселились на новой квартире, на углу Бассейной и Литейной, и опять закипела у них широкошумная литературная жизнь. Летом переехали в Петергофскую виллу, на взморье, опять-таки все втроем: Некрасов, ее муж и она. Там у них гостил Григорович, а потом нагрязнул с целой свитой Александр Дюма, - и все любовались прелестной хозяйкой и целовали у нее ручки, и восхищались ее гостеприимством [238].

Некрасов еще полгода назад пробовал убежать от нее. Он убегал от нее много раз и всегда возвращался - влюбленный. В начале того самого года, когда он послал ей приведенное выше письмо, он, прожив с ней несколько месяцев в Риме, внезапно покинул ее и уехал к своему другу в Париж с тем, чтобы уже не возвращаться. Но, конечно, скоро возвратился и целый месяц не раскаивался в этом:

"Я очень обрадовал Авдотью Яковлевну, которая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать, - писал он в откровенном письме. - Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно когда она, бедная, говорит пардон. Я, по крайней мере, не умею, и впредь от таких поползновений отказываюсь. И не из чего и не для чего. Что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен".

Эта женщина, которую он называл самолюбивой и гордой, радовалась ему чрезвычайно. Как-то после недолгой разлуки он вызвал ее к себе в Вену. Она так и полетела к нему, обрадовав его своей радостью. "Я и не думал и не ожидал, - пишет он, - чтобы кто-нибудь мог мне так радоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Она теперь поет и попрыгивает, как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства, которого я очень давно на нем не видал". "Мне с ней хорошо, а там как Бог даст" [239].

Но нежности хватило ненадолго.

Через два-три месяца Некрасов снова начал мечтать о побеге. Ему стало казаться, что он живет с этой женщиной только из жалости, только из благодарности к прошлому, что другой

на его месте давно разошелся бы с ней. Впрочем, он и сам не мог понять, равнодушен он к ней или нет, хорошо ему с ней или худо.

Все эти колебания сказались в том замечательном по откровенности письме, которое в октябре 1856 года он послал из Рима Василию Петровичу Боткину:

"Сказать тебе по секрету - но чур, по секрету! - я кажется сделал глупость, воротившись к [Авдотье Яковлевне]. Нет, раз погасшая сигара - не вкусна, закуренная снова!.. Сознаваясь в этом, я делаю бессовестную вещь: если б ты видел, как воскресла бедная женщина, - одного этого другому, кажется, было бы достаточно, чтоб быть довольным, но никакие хронические жертвы не в моем характере. Еще и теперь могу (?), впрочем, совестно даже и сказать, что это была жертва, - нет, она мне необходима столько же, сколько... и не нужна... Вот тебе и выбирай что хочешь. Блажен, кто забывать умеет, блажен, кто покидать умеет - и назад не оглядывается... Но сердце мое очень оглядчиво, черт бы его побрал! Да и жаль мне ее, бедную... Ну, будет, не показывай этого никому... Впрочем, я в сию минуту в хандре... Сказать по совести, первое время я был доволен и только думал: кабы я попал с нею сюда ранее годами 5-ю - 6-ю, было бы хорошо, очень хорошо! да эти кабы ни к чему не ведут" [240].

Это одно из самых замечательных писем Некрасова. Некрасов редко бывал откровенен, но если откровенничал, то до конца. С беспримечной отчетливостью отметил он в этом письме все те противоречивые чувства, которые одновременно охватили его: тут и любовь, и равнодушие, и жалость, и скука, и благодарность за прежнее, и чисто вкусовая неприязнь ("раз погашенная сигара - не вкусна, закуренная снова"). Сложный был человек, изнуряемый противочувствиями.

Ничего хорошего эта смесь ощущений не сулила Авдотье Яковлевне, и действительно, через несколько месяцев, вернувшись домой, он чувствует к ней одну только ненависть: "Горе, стыд, тьма и безумие! - говорит он в другом откровенном письме. - Горе, стыд, тьма и безумие, - этими словами я еще не совсем полно обозначу мое душевное состояние, а как я его себе устроил? Я вздумал шутить с огнем и пошутил через меру. Год тому назад было еще ничего - я мог спастись, а теперь..." [241].

Спастись для него означало уйти от этой женщины навеки. Но, конечно, он не спасся, не ушел. И когда, наконец, после, пятнадцати мучительных лет она, полустаруха, покинула его и вышла замуж за секретаря его редакции, Некрасов буквально взвыл от лютой обиды и ревности:

Один, один!.. А ту, кем полны

Мои ревнивые мечты,

Умчали роковые волны

Пустой и милой суеты, -

хотя, конечно, сам же был виновником этой разлуки.

Скрытный и сильный, он никому не показал своего горя: "молчу, скрываю мою ревнивую печаль", но горе было большое: "разбиты все привязанности... все кончено... трудись, пока годишься, и смерти жди, она недалеко... усни... умри..." - таков лейтмотив его тоскливой элегии, вызванный уходом этой женщины. Вместе с ней ушло от него все поэтическое очарование жизни:

Гляжу на жизнь неверующим глазом.

Все кончено! Седает голова.

Порою в припадке того ясновидения, которое дается лишь ревнивцам, он отчетливо видел отсутствующую и вдруг загорался к ней страстью, - к женщине, которая за тысячу верст. Этот плешивый, желтолицый и хилый старик, как двадцатилетний влюбленный, твердил ей страстные горячие слова, звал ее с собой в Италию, где они когда-то зимой собирали на вилле Боргезе цветы. Ничего, что ей пятый десяток, что она ему чужда и враждебна, он тянется к ней, как к невесте:

Бьется сердце беспокойное,

Отуманились глаза,

Дуновенье страсти знойное

Налетело, как гроза.

Вспоминаю очи ясные

Дальней странницы моей,

Повторяю стансы страстные,

Что сложил когда-то ей.

Я зову ее желанную:

Улетим с тобою вновь

В ту страну обетованную,

Где венчала нас любовь!

III

Он любил ее угрюмой, ревливой, изнурительно-трудной любовью. Совместная их жизнь была ад. Но стоило им разлучиться, как он снова влюблялся в нее. Похоже, что он любил ее только тогда, когда ее не было с ним: все те нежные любовные стихи, которые он посвятил ей, написаны в ее отсутствие, заочно. Когда же она с ним, - его стихи отражают не ласки, а буйные семейные сцены, оскорбления, ссоры и ругательства. Вообще его любовная лирика охотнее всего останавливается на любовном истязательстве и тиранстве. "Слезы, нервический хохот, припадок" - это у него чаще всего. "О, слезы женские, с придачей нервических тяжелых драм", -- тут его излюбленная тема [242].

"Буйство", "буря", "гроза", "бездна", "порушение", "клеймо", - говорит у него кто-то о любви. Одно из первых стихотворений, посвященных им этой женщине, есть стихотворение о ссоре: "Мы с тобой бестолковые люди: что минута, то вспышка готова, облегченье взволнованной груди, неразумное резкое слово..." Вскоре эти вспышки становятся бурями, любовь превращается в сплошное мучительство. Поэт в покаянную минуту зовет себя палачом этой женщины и молит ее о прощении:

Прости! Не помни дней паденья,

Тоски, унынья, озлобленья,

Не помни бурь, не помни слез,

Не помни ревности угроз!

Она прощала, но бури повторялись опять, и, главное, повторялись паденья. Это было тяжелее всего: Некрасов нередко у нее на глазах заводил мимолетные связи, что возмущало даже посторонних людей.

"Прилично ли, - писал Чернышевский, - прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связизшками, приличными какому-нибудь конногвардейцу?" [243].

Нет, это совсем не так легко быть женой знаменитого поэта. Еще раньше, в 1853 году, всего лишь через несколько лет, как она после долгой борьбы стала, наконец, его подругой, он изменил ей и заболел нехорошей болезнью.

Она вынесла и это испытание. Он впал в отчаяние, еще более возненавидел себя и все свои страдания вымещал, конечно, на ней, на подруге:

"Тяжелый крест достался ей на долю: страдай, молчи, притворствуй и не плачь. Кому и страсть, и молодость, и волю все отдала, тот стал ее палач", - восхищался он сам ее подвигом, но отказаться от палачества не мог.

Это действительно была для нее крестная мука - любить больного и крутого ипохондрика, и многое простится ей за то, что она в течение пятнадцати лет безропотно несла этот крест. Она не кинула Некрасова в годы болезни, когда ему "в день двадцать раз приходил на ум пистолет", когда, например, он боялся остаться на пароходе один, чтобы не кинуться в воду, - она была его покорной сиделкой. "Давно она ни с кем не знает встречи, - писал в эту пору Некрасов, - угнетена, пуглива и грустна, безумные, язвительные речи безропотно выслушивать должна", - и как же нам не пожалеть ее за это? Чернышевский именно тогда и поцеловал ее руку, когда "безумные речи" Некрасова уязвили ее при чужих.

Вдова Чернышевского, Ольга Сократовна, и через 50 лет вспоминала: "Единственно, чем бывал (Чернышевский) недоволен, так это некоторыми сторонами в отношениях Некрасова к Авдотье Яковлевне" [244].

Он обижал ее даже при детях. Одна тогдашняя девочка 14-15 лет вспоминает, как после его желчного окрика "она вся вспыхнула, и в голосе ее послышались слезы. Мы все притихли, опустили глаза, нам стало неловко".

"Я замечала, - рассказывает та же свидетельница, - что отношения Некрасова к Авдотье Яковлевне доставляли последней много огорчений, и нередко она возвращалась с половины Некрасова с заплаканными глазами". "Николай Алексеевич опять обидел Авдотью Яковлевну", - говорил тогда младший Добролюбов.

"Ей теперь не до нас с Ваничкою", - писал Добролюбов дяде в августе 1860 г. [245].

"...В хандре он злился на меня, - вспоминает она сама в мемуарах. - Если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное, он сам себе противен..."

И на следующей странице опять: "Он находился в хандре... лежал целый день на диване, почти ничего не ел..."

И снова через несколько страниц: "Некрасов... страшно хандрил..."

И в другом месте опять: "Настроение духа Некрасова было самое убийственное, и раздражение нервов достигло высшей степени..."

Но она умалчивает, что это раздражение нервов обрушивалось раньше всего на нее. В такие дни он упрекал ее за все, даже за ее красоту. Она ломала руки и молчала - "и что сказать

могла б ему она?" - но иногда не выдерживала и истерически проклинала его. В одну из таких буйных минут он зарисовал ее, явно любясь:

Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,
Жестокие, неправые...

Такова была их семейная жизнь. Но кто осудит за это Некрасова? Он терзал, потому что терзался. И главное его терзание - ревность. "Не говори, что молодость сгубила ты, ревностью истерзана моей". Ревновать он умел, как никто. "Ревнивое слово", "ревнивые мечты", "ревнивая боязнь", "ревнивая печаль", "ревнивая тревога", "ревнивая мука", "ревнивая злоба" - это у него постоянно. И сколько в его книге ревнивцев:

- Я полюбил, дикарь *ревнивый*...
- Стою, *ревниво* закипаю...
- Прости, я *ревнивец* большой...
- Он не был злобен и коварен, но был мучительно *ревнив*...
- А жену тиранил, *ревновал* без меры...
- Кто ночи трудные проводит, один *ревнивый* и больной?..
- Но подстерег супруг *ревнивый*...

Тут его навязчивое чувство: "молчу, а дума лютая покою не дает". Изю всех пыток любви он облюбовал себе самую мрачную и уныло предавался ей, благо это давало ему новое право ненавидеть себя, без чего он, кажется, не мог. Он был словно создан для ревности: замкнутый, угрюмый и таящийся.

Все, что в любви есть весеннего и праздничного, озаряло его лишь мгновениями, лишь для того, чтобы потом стала еще отягчительнее унылая работа его ревности. Это было его вечное занятие: он изливал свою ревность в стихах и в 1847 году, и в 1856 году, и в 1874 году. Он стыдился своей ревности, он звал ее "грустным недугом", но хуже всего то, что это был недуг неизлечимый. Он называл ее "постыдным порывом" и, конечно, каялся перед оскорбляемой женщиной и просил у нее за ревность прощения, - каяться он тоже умел, как никто, - но, покаявшись, принимался за прежнее. Иначе любить не умел. Любовь без ревности для него не любовь:

Пока еще кипят во мне мятежно

Ревнивые тревоги и мечты -

Не торопи развязки неизбежной!

А между тем это была весна их любви, первое ее весеннее цветение. Но он не верил, что это весна, и весну он чувствовал как осень. Любовь только что родилась, а уж он отпевает ее:

Кипим сильней, последней жаждой полны,

Но в сердце тайный холод и тоска...

Так осенью бурливее река,

Но холодней бушующие волны.

Самая бурливость их страсти кажется ему подозрительной: не предвещает ли эта бурливость - конца? Чем бурливее, тем холоднее. Их роман едва лишь начался, впереди у них не меньше пятнадцати лет, а он уже предчувствует конец:

Не торопи развязки неизбежной!

И без того она не далека.

И это первая любовная песнь, посвящаемая поэтом подруге, первая серенада, которую спел он возлюбленной! Если перевести эту серенаду на прозаический язык, то окажется: "Я еще ревную тебя, - значит, люблю. Но я люблю тебя все меньше и скоро совсем разлюблю. Ты тоже почти не любишь меня и, ускоряя развязку, издеваешься над нашей уходящей любовью. Но издеваться не надо, отложим иронию, и без того наша любовь скоро угаснет".

И это пишется в первые месяцы, о которых всю жизнь до старости он будет вспоминать с умилением. Вообще, когда вникаешь в историю этой любви, то уже не видишь ни эффектной брюнетки, ни знаменитого, любимого всей Россией поэта, а просто двух замученных друг другом людей, которых жалко.

IV

А тут еще Панаев, ее муж. Он хоть и пустопляс, но нельзя не пожалеть и пустопляса. Ему выпала трудная роль: жить при собственной жене холостяком. Официально он считался ее мужем, но и прислуга и посторонние знали, что муж его жены - Некрасов.

Они жили все втроем в одной квартире, это лишь усугубляло насмешки. Писемский, не любивший Панаева, хотя тот оказал ему немало услуг, глумился над ним даже в печати.

"Интересно знать, - писал Писемский в своей "Библиотеке для Чтения", - не опишет ли он [Панаев] тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым?" [246].

Только божественное его легкомыслие помогло ему в течение стольких лет играть эту невыносимую роль, которой и часу не вынесли бы более глубокие души. Его спасла его святая пустота, про которую еще Белинский говаривал, что она "неизмерима никакими инструментами" [247]. Конечно, во всем виноват он один: мот, вертопрах, свистун, - куда же ему быть семьянином. Он женился на *chère Eudoxie*, когда ей не было еще девятнадцати, едва ли не за тем, чтобы щеголять красивой женой перед приятелями и гулять с ней на музыке в Павловске. Целый сезон он был счастлив, съездил с ней, конечно, в Париж, побывал в казанском имении, покружился в Москве, почитал ей Вальтер Скотта и Купера и вскоре упорхнул папильоном за новой головокружительной юбкой. Упрекать его за это нельзя: таково было его естество. Для подробной истории этого брака у нас нет почти никаких материалов: две-три строки в переписке Белинского, десять строк в переписке Грановского, - все беглые штрихи и намеки, но нигде из этих мимолетных штрихов не видно, чтобы хоть в чем-нибудь была виновата она.

Напротив, каждая строчка лишь о том и свидетельствует, что муж словно нарочно стремился толкнуть ее в чужие объятия. Не прошло и двух лет после их свадьбы, а Белинский уже сообщает в письме: "С ним [Панаевым] была история в маскараде. Он втяхался в маску, завел с нею переписку... получил от нее письмо и боялся, чтоб Авдотья Яковлевна не увидела" [248].

Маски, модные кокетки, гризетки, француженки были его специальностью. Он вечно возил к ним приятелей, ибо был услужлив и добр: даже Грановского свез к знаменитой Пешель [249], а впоследствии самого Добролюбова сводил с маскарадными девами. Ему нравилось угощать своих приятелей женщинами, и он изо всех сил хлопотал, чтобы женщины пришлись им по вкусу: "Я тебя познакомлю с двумя блондинками; надеюсь, что ты будешь доволен", - писал он Василию Боткину.

Положительно он чувствовал себя чем-то вроде благодетельной сводни: "Эту вдову я тебе приготовлю, когда у тебя почувствуется потребность", - писал он тому же приятелю [250].

Григорович и через полвека вспоминает, как Панаев ухаживал за какой-то важной кокеткой и жаждал добиться взаимности [251]. С омерзением изображает Аполлон Григорьев в одном письме распутные отношения "Ваньки Панаева" к какой-то похабной Мине [252].

А двадцатилетняя красавица-жена была оставлена без всякой защиты.

Грановский, присмотревшись к ее жизни, был поражен именно ее беззащитностью: "Если бы ты знала, как с нею обходятся! - писал он из Петербурга жене. - Некому защитить ее против самого нахального обидного волокитства со стороны приятелей дома" [253].

К душевным влечениям жены он не выказывал никакого внимания. У нее, например, только что скончалась сестра, ей хочется остаться при детях покойницы, а он тянет ее насильно в Москву.

"Ему хочется во что бы то ни стало поразить Павлова и Шевырева своими штанами, которых нашил для этого целую дюжину, - возмущался им Белинский. - А для штанов дети Краевского должны быть без присмотра... Не знаю, достанет ли у него духу везти ее против воли. Он будет поражать московских литераторов своими штанами, рассказывать им старые анекдоты о Булгарине и вообще удовлетворять своей бабьей страсти к сплетням литературным, а жену оставлять с тобой и Языковым, что не совсем ловко" [254].

Словом, нужно не тому удивляться, что она в конце концов сошлась с Некрасовым, а тому, что она так долго с ним не сходилась.

Они познакомились в 1843 году. Панаев в это время отбил от нее окончательно и почти ежедневно, пьяный, возвращался домой на рассвете.

"Это лето я вел жизнь гнусную и пил с гусарами", - писал он сам своим московским приятелям. Он был не то чтобы пьяница, но любил "пройтись по хересам", "пить клико и запивать коньяком" [255].

Некрасову было двадцать два года, когда он познакомился с ней. Ей было двадцать четыре. Вчерашний пролетарий, литературный бродяга, конечно, он вначале не смел и мечтать о благосклонности такой блистательной дамы. Странен был среди бар-гегельянцев этот петербургский плебей. Какое ему было дело да их Вердеров, Михелетов, Розенкранцеров, до их "самоищущего духа" и "конкресцирования абстрактных идей"! Сперва они думали, что он просто делец, альманашник, небездарный литературный ремесленник, но понемногу ощутили в нем большую поэтическую силу и приняли его, как своего. Тогда-то он и влюбился в нее.

Но она не сразу уступила его домоганиям, а до странности долго упорствовала [256]. Очевидно, было в его любви что-то сомнительное, не внушавшее доверия, подозрительное, раз она, по его собственным словам, жаждала верить в нее и не могла. Вначале она решительно отвергла его. Он с отчаяния чуть было не кинулся в Волгу, но не такой был человек, чтобы отстать. Ее упрямство только разжигало его.

"Как долго ты была сурова, как ты хотела верить мне и как и верила, и колебалась снова", - вспоминал он в позднейшем письме.

Нелегко досталась ему эта женщина. Впоследствии он любил вспоминать "и первое движение страсти, так бурно взволновавшей кровь, и долгую борьбу с самим собою и неубитую борьбу, но с каждым днем сильней кипевшую любовь".

Этот любовный поединок продолжался с 1843 года по 1848-й. В 1848 году она, окончательно пренебреженная мужем, стала, наконец, женой Некрасова [257], и день, когда это случилось, долго был для него праздником праздников:

Счастливым день! Его я отличаю

В семье обыкновенных дней;

С него я жизнь мою считаю,

Я праздную его в душе моей.

Их союз был труженический. Медовые месяцы протекали в хлопотливой работе. Ведь именно в 48-м-49-м годах Некрасов с нечеловеческой энергией строил свой журнал "Современник".

Мы, кажется, до сих пор не постигли, какой это был трудный подвиг. Если бы Некрасов не написал ни строки, а только создал журнал "Современник", он и тогда был бы достоин монументов.

Конечно, он втянул в свою работу и ее, и даже улучил каким-то фантастическим образом время, чтобы написать совместно с ней огромный, забронированный от свирепой цензуры роман.

Во время писания этого романа она забеременела и писала его до самых родов - девять месяцев. Оба они хотели ребенка, и можно себе представить, как дружно, влюбленно и радостно писали они этот роман. Едва ли когда-нибудь в позднейшую пору их любовь была так нежна и крепка. Но роды оказались неудачные. Новорожденный мальчик умер, едва появившись на свет [258].

Авдотья Яковлевна как бы закоченела в тоске; она не могла даже плакать. Некрасов оставил нам несколько строк, изображающих ее материнскую скорбь:

Как будто смерть сковала ей уста...

Лицо без мысли, полное смятенья,

Сухие напряженные глаза,

И, кажется, зарею обновленья

В них никогда не заблестит слеза.

Его тоже огорчила эта смерть: "поражена потерей невозвратной душа моя уныла и слаба". Но горе матери было сильнее. Авдотья Яковлевна никогда не могла позабыть это горе; бездетность всю жизнь тяготила ее. Это был второй ребенок, которого она потеряла. Первый родился лет за восемь - дочь от Панаева, которая тоже скончалась младенцем [259].

После смерти сына она тяжело заболела и уехала по совету врачей за границу. Любовь Некрасова во время разлуки, - как это бывало всегда, - разгорелась. Он писал ей длинные любовные послания в стихах, где с восхитительным деспотизмом ревнивца требовал, чтобы она тосковала по нем и не смела бы в разлуке веселиться: "Грустишь ли ты? - допытывался он. - Ты также ли печали предана?"

И прямо говорил в конце письма, что, хоть он желает ей счастья, но ему легче, когда он подумает, что без него она тоскует и страдает.

Однажды она ответила ему притворно-холодным письмом, и это довело его до отчаяния: "Я жалок был в отчаянии суровом".

И как блаженствовал, когда оказалось, что это был ее "случайный каприз", что она любит его по-прежнему: "Всему конец! своим единым словом душе моей ты возвратила вновь и прежний мир, и прежнюю любовь".

Это было, примерно, в 1850 году. Вскоре она вернулась домой. Они написали вместе еще один объемистый роман - и прожили, постоянно расходясь и сходясь, десять-одиннадцать лет.

Не все вначале одобряли их связь. Ведь Панаев был дэнди, а Некрасов темный проходимец! - таково было мнение света. Какой-то канцелярский карьерист выражается в своих мемуарах так: "Непостижимо отвратительно было видеть предпочтение джентльмену Панаеву такого человека, как Некрасов, тем более, что по общему мнению он не отличался и в нравственном отношении. Что касается до его таланта, то во всяком случае он не был же такой громадной величины, чтобы одною своею силою совратить с пути порядочную женщину". - "Наружность Панаева была весьма красива и симпатична, тогда как Некрасов имел вид истинного бродяги" [260].

Грановский, который наблюдал Авдотью Яковлевну в первые годы ее сближения с Некрасовым, тоже не нашел тут хорошего, хотя, конечно, по другим причинам. Он не упрекает ее, но неизменно жалеет: "Жаль этой бедной женщины...", "Она страшно переменялась не в свою пользу...", "Видно, что над нею тяготеет грубое влияние необразованного, пошлого сердцем человека".

Грановский считал Некрасова "неприятным и отталкивающим", хотя и даровитым человеком. Атмосфера, которую Некрасов создал для нее, казалась Грановскому растлевающей.

"Сегодня был у Авдотьи Яковлевны, - читаем в одном из писем Грановского. - Жаль бедной женщины. Сколько в ней хорошего. А мир, ее окружающий, в состоянии задавить кого хочешь. Не будьте же строги к людям, дети мои. Все мы жертвы обстоятельств".

Через несколько месяцев снова: "Как жаль ее! Она похудела, подурнела и очень грустна".

V

А Некрасов между тем расширялся и креп. Он почувствовал себя полным хозяином всего, что его окружало. К середине пятидесятих годов, к тридцатипятилетнему возрасту, он стал влиятельной персоной в Петербурге, - член аристократического Английского клуба, издатель демократического, лучшего в России, журнала, любимый радикальной молодежью поэт, друг высоких сановных особ. У него повара, егеря и лакеи, он устраивает себе "грандиозные охотничьи предприятия", он ведет крупнейшую игру, выигрывает и проигрывает тысячи.

Панаев стусевался и съезжился, куда же ему, свистуну, соперничать с таким кряжистым и напористым другом! Еще так недавно Некрасов занимал в его квартире одну комнату, а теперь он сам занимает одну комнату в квартире Некрасова, и его карета стала каретой Некрасова, и его жена стала женой Некрасова, и его журнал стал журналом Некрасова: как-то так само собою вышло, что купленный им "Современник" вскоре ускользнул из его рук и стал собственностью одного лишь Некрасова, а он из редактора превратился в простого сотрудника, получающего гонорар за статейки, хотя на обложке журнала значился по-прежнему редактором. Легко ли было бедняге смотреть, как в его журнале Некрасов печатает любовные стихи к его жене.

В хозяйственном и деловом отношении его жена оказалась для Некрасова кладом. Она читала рукописи, сверяла корректуры, прикармливала нужных сотрудников. Некрасов давал обеды - самые разнообразные для самых разнообразных людей: цензорам и генералам - одни, картежникам-сановникам - другие, сотрудникам нигилистам - особенные, сотрудникам эстетам - особенные; для каждого обеда требовалось другое меню, другие манеры, другая сервировка, другой стиль. Все это она постигла до тонкости. С семинаристами - демократически проста, с генералами - великосветская барыня. Недаром вышла из актерской семьи: артистически играла все роли. С Чернышевским держалась так, с Фетом совсем иначе [261]. Тут не было притворства и лукавства - это у нее выходило естественно, само собой, от души. Она стала чем-то вроде хозяйки гостиницы: вечно на людях, в суете, в толчее, полон дом гостей, с утра до вечера, - этому улыбнись, этого накорми, этого устрой на ночлег, - тут она нашла свое призвание, тут в ней обнаружилась бездна талантов, бойкости, такта, лоска.

А Панаев и тут посторонний. Муж без жены, редактор без журнала, он ожесточился и впал в меланхолию, но обвинять Некрасова в своих бедах не мог. "Я сам был своим злейшим врагом, - говорил он в иные минуты. - Я сам испортил свою жизнь". И, правда, во всех своих бедствиях был виноват он один, он всю жизнь словно нарочно стремился к тому, чтобы возможно скорее стать физическим и духовным банкротом. Не будь Некрасова, он все равно потерял бы и карету, и квартиру, и жену, и литературный авторитет, и журнал. Некрасов, если всмотреться внимательно, был его опекуном и охранителем; взяв его дела в свои руки, он отсрочивал его банкротство с году на год.

"Он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия... я держу его в руках... я смотрю за ним строго..."

Он, - легкомысленный ветренник, любит сорить деньги..." - говорил Некрасов Чернышевскому в 1853 году, в первый же день открывая незнакомому молодому человеку, что Панаев не редактор "Современника" [262]. Да и можно ли было хотя бы на один миг доверять "Современник" Панаеву! Тот сейчас же, ради угождения своим приятелям, набьет его "всякой дрянью, сочиненной приятелями, да еще раздаст им бесплатно дорогостоящие книги журнала".

"Напишу Панаеву, что не один я бешусь, зачем он пачкает "Современник" стишонками Гербея и Грекова, за что я написал ему ругательство", - гневался в Риме Некрасов [263].

В контору "Современника" Некрасов прямо писал, чтобы Панаева и близко не допускали к деньгам.

"Не доверяй денег Ивану Ивановичу и пресеки ему пути к получению их, - приказывал он из Рима заведывавшему конторой "Современника". - Это для него же лучше... Еще не самое важное, что пропадут деньги, но, если ты будешь плошать, то жди впереди путаницы, беспорядка и постыдной огласки для "Современника" [264].

И напрасно в иных мемуарах твердят, будто Некрасов какими-то кознями вытеснил Панаева из его "Современника" [265]. Разве "Современник" был панаевским? Разве его не создал Некрасов? Правда, Панаев дал на его издание деньги, но в первые же годы издательства эти деньги вернулись к нему, а кроме того, Некрасов внес некоторый капитал и от себя: пятью тысячами ссудила его Наталья Александровна Герцен, какие-то деньги дал Боткин и проч.

Некрасов был ни в чем не виноват, но Панаеву от этого было не легче. Посмотрите на его портрет того времени: постаревший забуддыга, истаскавшийся фат в парике, сорокапятилетний свистун, как он уныл и трагичен [266]. Страшно ему было оглянуться на свою угарную жизнь, которую он зря просвистал. А тут как нарочно нагрянули шестидесятые годы, явились новые, очень строгие люди, требовательные к себе и другим, и хотя он, в соответствии с модой, перекарасился мгновенно в нигилисты (мимикрия для слабых - спасение), но тем ужаснее предстало перед ним его прошлое, когда он взглянул на него глазами своих новых кумиров. "Добрейший этот человек, мягкий как воск, когда-то веселый, беспечный, теперь постоянно находился в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа", - вспоминает его двойник Григорович [267].

Ему, как и многим безвольным, стало казаться, что стоит ему только уехать, и он сделается другой человек. Только подальше от Некрасова, от сплетен, забиться в деревенские снега и начать новую жизнь. И снова через столько лет он льнет к жене, и зовет ее, конечно, с собой:

"Если бы ты также согласилась жить в деревне, я был бы совершенно счастлив... ты бы тоже отдохнула... ведь, и тебе тяжело жить здесь..." [268].

Еще бы не тяжело! Она обещала ему все, что угодно, и он, как водится, младенчески залепетал, какую он напишет в деревне необыкновенную, великолепную повесть, и просил у жены прощения, и обещал, что исправится, и через две-три недели скончался от разрыва сердца, говоря:

- Прости меня... Я во мно...

Она лишилась чувств, а Некрасов поместил в "Современнике" прочувствованную статью о покойнике. В сущности покойник был неплохой человек.

- Ведь я человек со вздохом! - нередко говорил он в свое оправдание, ударяя себя с полукوميческим выражением в грудь туго накрахмаленной сорочки, и "уже одно то, - говорит Фет, - что он нашел это выражение, доказывает справедливость последнего" [269].

Он, действительно, был человек со вздохом. "В нем есть что-то доброе и хорошее, за что я не могу не любить его, - писал о нем Белинский, - не говоря уже о том, что я связан с ним и давним знакомством и привычкой, и что он, по-своему, очень любит меня. Но что это за бедный, за пустой человек, - жаль даже" [270].

Наконец Авдотья Яковлевна - вдова, свободная женщина. Но поэт не торопится жениться на ней. "Ему бы следовало жениться на Авдотье Яковлевне, - говорил через 25 лет Чернышевский, - так ведь и то надо было сказать, невозможная она была женщина" [271].

Почему невозможная, нам неизвестно. Некрасов не только не женился на ней, но скоро отошел от нее совершенно, предпочитая любить и ревновать ее издали.

Эта развязка подготавливалась издавна. Еще в конце пятидесятых годов Некрасов начал тяготиться своей связью и не то чтобы порвал с Авдотьей Яковлевной, но - уже не скучал без нее. Их разлуки становились все дольше и чаще. Потом она осталась одна за границей - в двусмысленном и невозможном положении: не то любимая, не то отвергнутая женщина, как будто и жена, а как будто и нет. Для нее это было страшное время. Она не была создана для бессемейной и бездомной свободы. По существу она была женщина-мать; ей было нужно гнездо. Как потерянная, переезжала она из города в город, ища хоть мимолетных утешений. Все ее тогдашние письма - одна непрерывная жалоба. Если бы у нее были дети, ей было бы легче переносить это надвигающееся на нее сиротство. Она была из тех женщин, для которых бездетная жизнь - бессмыслица. Покуда возле нее был Некрасов, она заглушала в себе свою тоску по ребенку, но чуть Некрасов отдалялся от нее, эта тоска возрастала. Одному из своих петербургских друзей она писала в то время из Рима:

"Я потому говорю, что жизнь не может мне более принести радостей, что у меня нет детей. Потеря моего сына меня слегка свихнула с ума, кажется, никто этому не хотел верить... Я считаю себя умершей для жизни и горюю в своем одиночестве... Вы теперь отец и поймете всю бесконечную мою тоску одиночества..."

Теперь, когда ее покинул Некрасов, этот ужас одиночества, ужас бездетности, охватил ее с новой силой. Не было бы ничего удивительного, если бы она, чтобы забыть о своем сиротстве, кинулась в самую беспутную жизнь, стала кутить, швырять деньги, заводить веселые знакомства. Ей было тридцать семь-тридцать восемь лет, но она все еще была красивая женщина и, когда хотела, привлекала мужчин. Без дома, без ребенка, без мужа - что же ей было делать с собой?

Кажется, она действительно испробовала тогда эту веселую жизнь. По крайней мере ее тогдашние письма являют собой странную смесь отчаяния, презрения к себе и безумной жажды развлечений. Словно она веселилась кому-то назло, словно она мстила кому-то своим невеселым весельем...

Впрочем, как и следовало ожидать, эта жизнь оказалась не по ней: "В Венеции, - пишет она, - я могла бы развлечься, даже забыть о моих зрелых годах, потому что имела много доказательств, что их не хотят замечать. Но что же я делаю? Сажу одна вот уже три месяца и все обдумываю, способна ли я удовлетвориться одним удовлетворением женского самолюбия, то есть окружить себя толпой молодых людей, выслушивать их комплименты, объяснения, кокетничать. Иногда мне кажется, что я способна, но потом мне делается все так противно, пошло, что я сама себе делаюсь мерзка. Нет, я погибла безвозвратно!.."

От этой дикой и безалаберной жизни ее по-прежнему тянет к самому захолустному семейному счастью: "Ищу того, что уже для меня невозможно. Я хочу жизни тихой, после всего, что было со мной. Просто я помешанная!"

Из Венеции она уехала в Париж; но и там не нашла утешения: "Вообще я трачу много, хочу развлекаться, но умираю от тоски. Все ноет во мне. Доктор мне попался хороший, он сказал мне, что ничто мне не поможет, кроме перемены образа жизни и спокойствия духа, а как этого ни одна аптека не может отпустить по рецепту его, то всякое лечение пустяки для меня".

"Сажу по вечерам дома, как и в Петербурге, и так же часто хнычу..." "Где Некрасов? Я до сих пор не получала от него письма..."

"Осень усилит мою тоску, вечера будут длинные, а холод в комнатах разовьет мои боли в полном блеске..."

"Впрочем, я потеряла голову!.. На днях в Лондоне случилось несчастье на железной дороге, много погибло. Ведь есть же счастье людям! Разумеется, быть калекой упаси Господи, в моем положении, но сколько же погибло в одно мгновение. В мои лета глупо это говорить. Но я два - нет, три месяца как ни с кем от души слова не сказала. Прощайте, целую вас крепко и прошу разорвать мое письмо. А если кто спросит обо мне, то скрыть мою глупую жизнь. Право, мне стыдно за себя.."

А в конце письма - снова о влечении к ребенку, если не к своему, то хотя бы к чужому. Она рассказывает, как жадно засмотрелась она в саду Тюильри на какую-то играющую девочку, которая напомнила ей другую девочку, любимую ею. Нянька забеспокоилась: отчего эта незнакомая дама так странно глядит на ребенка? Но она объяснила, в чем дело, и нянька милостиво позволила ей поцеловать эту чужую девочку [272].

Куда же в самом деле ей было девать свою неистраченную материнскую нежность?

Вернувшись к Некрасову, она прожила с ним еще несколько лет, но вскоре ушла от него окончательно и вышла замуж за Головачева Аполлона Филипповича, веселого и разбитного человека, наклонного к безделью, мотовству и легким семейным изменам.

А у Некрасова на бывшей квартире Панаевых появилась дорогая француженка, mademoiselle Седина Лефрен, бывшая артистка Михайловского театра.

- Дома Авдотья Яковлевна? - спросила осенью 1863 года одна девушка, позвонив у дверей недавнего ее бельэтажа.

- Она здесь больше не живет! - нагло ответил лакей. Связь с мамзелью продолжалась недолго. Мамзель была солидна и расчетлива: "проживу столько-то лет, наживу столько-то денег, - и в Париж!" - такова была ее программа. Замечательно, что в самом начале, когда он только увлекся ей и "принялся за французский букварь", Авдотья Яковлевна, как бы

покровительствуя его увлечению, сама покупала ему всевозможные французские учебники, помогая ему усвоить язык, на котором он будет объясняться с другой [273].

VI

А что же ее преступление? Неужели и вправду она совершила его? Теперь это, кажется, уже не вызывает сомнений, ибо ее осудил беспощадным судом такой почти авторитетный исследователь, как Михаил Лемке. Обвиняя ее в этой уголовной афере, Лемке привел убийственный для нее документ: письмо самого Некрасова, где, как мы видели, обвинение высказано с неотразимой и ошеломляющей ясностью.

Документ огромного значения; но все же, вчитываясь в него, не забудем, что он относится к той самой женщине, о которой в старости, гораздо позднее, через 10-12 лет, Некрасов сказал с благодарностью:

Все, чем мы в жизни дорожили,

Что было лучшего у нас -

Мы на один алтарь сложили,

И этот пламень не угас!

Мог ли он так отзываться об опозорившей его вульгарной аферистке? Стал ли бы он говорить о пламени, о жертвеннике-алтаре, куда они оба сложили все самое святое, если бы он действительно думал о ней то, что у него написано в опубликованном у Лемке письме? Разве он сошелся бы с ней через несколько месяцев, разве зажил бы с ней по-прежнему, если бы сам хоть отчасти верил в те необдуманные и жестокие слова, которые вырвались у него в этом письме? Не ясно ли, что все это письмо есть один из эпизодов их романа, одна из их супружеских ссор, которых у них было множество и которые не только не мешали их дружбе, но, напротив, по признанию Некрасова, даже укрепляли ее:

После ссоры так полно, так нежно

Возвращенье любви и участия...

Мы видели, что чуть не все их сожителство проходило в таком чередовании примирений и ссор, и мало ли чего в течение этих пятнадцати лет ни наговорили друг другу в запальчивости эти сварливо-влюбленные люди, мало ли каких безумных упреков ни швыряли они друг другу в лицо, - особенно он, постоянно больной ипохондрик!

Разве вправе исследователь безо всякой проверки, как некую объективную истину, заносить на скрижали истории эти упреки и жалобы? Да и откуда мы знаем, что отвечала она на гневные нападки Некрасова! Может быть, по обычаю супружеских ссор, она тогда же написала ему: "нет, это ты, ты, ты виноват во всем, ты втянул меня в это темное дело, ты погубил мою жизнь". Неужели от такого письма, если бы его нашел Мих.Лемке, зависела бы вся репутация Некрасова? А она высказывала ему такие упреки не раз; не дальше как в том же году он записал в одном стихотворении, что ее "необузданная речь сливается в ужасные упреки, жестокие, неправые". В чем эти упреки заключались, видно из его оправданий:

Постой!

Не я обрек твои молодые годы .

На жизнь без счастья и свободы,

Я друг, я не губитель твой!..

Но ты не слушаешь...

Упреки исходили от обеих сторон, и покуда мы не выслушали другой стороны, какая нашему приговору цена?

Вообще, Мих.Лемке напрасно с таким простодушием полагается безо всякой проверки на обнародованный им документ. Для нас, например, многое в этом документе сомнительно.

Почему Некрасов уверяет Панаеву, будто он, спасая ее честь, принял всю ее вину на себя, будто он до могилы не выдаст ее, будто ее честь ему дороже своей, - ежели нам достоверно известно из обнародованных уже документов, что он не только ее чести не спасал, не только не взваливал ее греха на себя, но всюду, кому только мог, повторял, что во всем виновата она, а он здесь ни при чем.

Это - документально доказанный факт, и покуда никто не опровергнет его, все восторги Мих.Лемке перед рыцарским отношением Некрасова к женщине будут казаться насмешкой.

Ведь именно это взваливание вины на Панаеву больше всего покорило Герцена. Из мемуаров Л.П.Шелгуновой "мы знаем, что Герцен, рассказывая это дело до малейших подробностей, "возмущался всего более тем, что Некрасов всю свою вину сваливал на женщину" [274].

Мих.Лемке почему-то умалчивает об этих показаниях Шелгуновой. Может быть, он им не доверяет? Но у нас есть подлинное письмо самого Герцена, подтверждающее эти показания. 20 июня того же пятьдесят седьмого года Герцен сообщает Тургеневу; "Некрасов ко мне писал. Письмо гадкое, как он сам... Вот тебе совершенно заслуженная награда за дружбу с негодяями. Итак, первое дело он взвалил на Панаеву, второе на тебя" [275].

В письме так и сказано: "взвалил на Панаеву".

Но, может быть, Герцену только так показалось, а на самом деле Некрасов защищал и выгораживал свою подругу? Нет, у нас есть подлинное письмо Некрасова, писанное в то же время к Тургеневу, - кажется, в надежде, что оно будет сообщено Огареву и Герцену. В этом письме говорится: "Если вина моя в том, что я не употребил [на Панаеву в этом деле] моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его - особенно тогда, когда это дело разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде" [276].

Словом, Некрасов даже от малейшего касательства к этому делу отказывается, а не то, чтобы все дело самоотверженно взвалить на себя. Не только близким и заинтересованным лицам, но и таким посторонним, как, например, секретарь его редакции Николай Степанович Курочкин, сообщил безо всякой нужды, в минуту откровенной разговорчивости, что во всем виновата она [277].

Об этом упоминает и Лемке, что, однако, не мешает ему говорить о "рыцарской защите чести женщины" и об "ужасной трагедии в жизни Некрасова".

"Даже для того, - восхищается Мих.Лемке, - чтобы очистить себя в глазах очень нужных ему людей, Некрасов все-таки и им не назвал имени истинной виновницы, но даже вообще в своем рассказе выгородил ее" [278].

Почему это Мих.Лемке понадобилось, чтобы Некрасов был образцом добродетели? Разве Некрасов не вправе быть таким же грешным человеком, как мы? Кому нужен выдуманный, приукрашенный Некрасов? Нет, Некрасов был живой человек, он влюблялся в женщин, как мы, и обманывал их, как мы, и этим он для нас гораздо ближе, чем если бы он и вправду был вместилищем всех добродетелей.

В данном случае мы должны прямо сказать, что он совершенно напрасно уверяет Панаеву, будто свято хранит ее тайну и до гроба не выдаст ее.

VII

В чем же она виновата? В чем заключается это темное дело, в котором обвиняют ее?

Это дело сложное и путанное. Тут выступает на сцену другая столь же несчастная женщина, жена поэта Огарева, исковерканное и больное существо.

Когда Огарев, после тягучих раздоров, разошелся, наконец, с Марьей Львовной, он оставил у нее в руках один небезопасный документ: фиктивное заемное письмо на 300 000 рублей ассигнациями (85 000 руб. серебром). Марья Львовна уверяла его, что не посягнет никогда на эти подаренные ей деньги, а удовлетворится одними процентами. И действительно, долгое время она довольствовалась теми восемнадцатью тысячами, которые ежегодно под видом процентов выдавал ей ее бывший супруг. Из этих восемнадцати тысяч пять тысяч получал ее отец, а на остальные она жила за границей со своим давним сожителем художником Сократом Воробьевым [279].

Это была незаурядная и порою непротивная женщина. Что-то в ней мелькало вдохновенное. Но главное ее свойство - сумбурность. Из таких женщин вербуются психопатки, самоубийцы, морфинистки, героини сенсационных процессов. Они пьют водку и - сразу на трех языках - ведут лихорадочный надрывный дневник очень неразборчивым почерком. Руки у них потные, а волосы жидкие, и не многие из них доживают до сорокалетнего возраста. Тургенев звал Марью Львовну плешивой вакханкой. В ней была бездна эгоизма, цинизма, но была и нежность и наивность. Она была безумна и - себе на уме. Попадись такая барыня к русским присяжным, они непременно оправдали бы ее, но также оправдали бы и ее любовника, если бы тот пырнул ее ножом. Томный и рыхлый Огарев был, конечно, неспособен на это, он просто разлюбил ее и, деликатно отойдя от нее, посылал ей бесконечные тысячи франков - для нее и ее Воробьева.

Тут-то появилась Панаева. Еще в Петербурге она дружески сошлась с Марьей Львовной и стала незаменимой посредницей между женой и мужем. Марья Львовна, когда ей были нужны новые тысячи франков, писала своей дорогой Eudoxie, дорогая Eudoxie - Огареву, Огарев давал эти тысячи ей, и она пересылала их Марье Львовне. Но, конечно, вместе с тысячами она пересылала и сплетни, всячески внушая Марье Львовне, что та несчастная загубленная жертва, а Огарев ее палач и тиран.

"Но мы тебя спасем, мы за тебя постоим!" - и плешивая вакханка охотно приняла на себя эту роль обманутой и оскорбленной невинности, которую спасают от изверга, и разыгрывала эту роль как по нотам.

"О, Eudoxie, ты одна понимаешь меня!" - и вскоре у них образовался как бы тайный союз против изверга, причем, конечно, обе были свято уверены в чистоте и правоте своих чувств.

Спасительница писала спасаемой: "Я очень беспокоюсь о тебе; право, не знаю, как бы мне устроить дело, избавив тебя от неприятностей... Трудно, очень трудно тебе ладить теперь с ним [с Огаревым]... Они [т.е. Огарев и его друзья] обобрали тебя... Я страшно зла на твоего мужа, много я знаю и собираю о нем сведений, и если бы ты была женщина с характером и с могучим здоровьем, то я бы тебе порассказала бы его подвиги" [280].

Дальше шли рассказы о "пороках" изверга, о его "развратном поведении", о том, что изверг топчет Марью Львовну в грязь, губит ее жизнь и т.д.

И в другом позднейшем письме, случайно дошедшем до нас, и, несомненно, во всех недошедших она пишет Марье Львовне о "подлости и гнусности Огарева и его друзей", которые "обрабатывали втайне свои грязные бесчестные поступки..." [281].

- Но мы тебя спасем, не беспокойся! - таков обычный лейтмотив этих писем: "будь покойна, я заставлю Иван Иваныча переписаться с Огаревым...", "Иван Иваныч едет в город и напишет Огареву письмо..."

Союз против изверга ширился, образовалась как бы антиогаревская партия, которая вскоре, конечно, заглохла бы, если бы изверг через четыре года после расхождения с женой не совершил еще одного преступления: если бы он не влюбился. Он влюбился в Консуэллу Тучкову, и Консуэлла полюбила его, и в 1849 г. они соединились невенчанные. За это ему не будет пощады. И хотя Марья Львовна уже семь или восемь лет мирно сожительствовала на огаревские деньги со своим благодушным Сократом и имела от него ребенка (которого изверг деликатно признал своим), она теперь с новым приливом истерики почувствовала себя загубленной жертвой. Она словно родилась для этой роли, словно всю жизнь только ее и ждала и теперь сыграла ее с огромным подъемом, с восторгом, - вдохновенная, растрепанная, пьяная.

Желая жениться на своей Консуэлле, Огарев через посредство друзей попросил у плешиной вакханки развода, но плешиная вакханка взяла такой иступленно-трагический тон, что друзья Огарева в отчаянии писали ему:

- Это безумная!

- Это грязная Мессалина с перекрестка.

- Это погибшее и немилое создание... [282]. Конечно, Авдотья Яковлевна поддерживала ее в ее буйном и жестоком упрямстве, и хотя это не слишком похвально, но преступления тут нет никакого, это ведь обычное дамское. К тому же они обе, повторяю, были уверены в своей правоте, так как у Огарева в ту пору действительно была репутация распутника и, покуда он не влюбился в Тучкову, он, по его собственным словам, "вел беспутную, почти распутную жизнь", учинял всевозможные "гадости" [283], и сам же писал Марье Львовне:

Я несть готов твои упреки,

Хотя и жгут они как яд.

Конечно, я имел пороки,

Конечно, в многом виноват [284].

И кто же станет обвинять Авдотью Яковлевну за то, что в добросовестном и бескорыстном заблуждении она встала на защиту оскорбляемой? Ведь не знала же она Огарева так, как знаем его теперь мы, ведь не читала же она тех ста тридцати восьми его писем, с которыми почти на днях познакомились мы по "Русским Пропилеям" и "Образам Прошлого". К тому же и у Огарева была своя дружно сплоченная партия, отнюдь не щепетильная в выборе средств.

Как бы то ни было, Марья Львовна не только не дала Огареву развода, но внезапно, к великому его изумлению, предъявила к нему иск, подала ко взысканию все его заемные письма, потребовав у него через ту же Панаеву триста тысяч рублей ассигнациями, и для обеспечения иска наложила по суду запрещение на его огромное имение, стоившее около пятисот тысяч рублей, единственное уцелевшее у него от многомиллионного наследства, причем ведение всего этого дела поручила той же Eudoxie. Eudoxie горячо принялась за работу, привлекла к себе ретивых помощников и блистательно выиграла процесс: имение "Уручье" Орловской губернии, Трубчевского уезда, в 550 душ и 4000 десятин, перешло по суду к Марье Львовне и было небезвыгодно продано, чтобы Марья Львовна могла получить свои деньги.

До сих пор все ясно и просто, но тут произошло непонятное.

Оказывается, Марья Львовна денег никаких не получила (а если и получила, то мало) и через несколько лет после процесса, в 1855 году, скончалась в вопиющей нищете. Огарев, которому после продажи имения причиталась изрядная сумма, тоже не получил ничего. Как это произошло, мы не знаем. У нас нет никаких документов. Воздержимся от всяких догадок, они все равно не приведут ни к чему, и не станем никого осуждать на основании одних только непроверенных слухов. Мы не отрицаем того, что Панаева могла истратить эти деньги: в то

время она была большая мотовка и оставляла у портных и ювелиров огромные деньги, свои и Некрасовские, но ведь тут могла быть виновата совсем не она, могли быть виноваты друзья Огарева, ведшие этот процесс; они действовали так неумело, что опытные люди еще до начала процесса предсказывали, что они разорят Огарева.

"Доверители Огарева, не понимая ровно ничего, действуют так, что и сам Огарев может остаться ровно без ничего", - писал Панаеву отставной штабс-ротмистр Шаншиев еще в июне 1849 года [285].

Кто знает, может быть так и случилось, тем более, что некоторые из этих друзей, взявшие на себя устройство других его дел, Сатин и Павлов, вскоре окончательно разорили его [286].

Если же она и присвоила какую-нибудь часть этих денег, то нечаянно, без плана и умысла, едва ли сознавая, что делает. Тратила деньги, не думая, откуда они, а потом оказалось, что деньги чужие. Это ведь часто бывает. Деньги у нее никогда не держались в руках, недаром ее мужем был Панаев, величайший мот и транжир. Некрасов тоже приучил ее к свободному обращению с деньгами. Да и раздавала она много: кто бы ни просил, никому не отказывала. Этак можно истратить не одно состояние. Виновата ли она, мы не знаем, но если виновата, мы с уверенностью можем сказать, что злой воли здесь она не проявила, что намерения присвоить чужое имущество у нее не было и быть не могло. Это противоречило бы всему, что нам известно о ней.

В одном из своих писем она, как мы знаем, писала, что после смерти сына в 1849 году она немного "свихнула с ума". И тут же прибавляла, что это временное сумасшествие выразилось тогда в целом ряде поступков, которые противоречат ее убеждениям и всему ее душевному складу.

Нет ли в этих словах указания на огаревское дело? Даты вполне совпадают. Если так, то вина ее меньше, чем кажется. Во всяком случае можно сказать, не боясь ошибиться, что начала она огаревское дело с искренним желанием помочь Марье Львовне, поддержать и утешить несчастную женщину. .

VIII

Какова же в этом деле роль Некрасова?

"Здравствуйте, добрая и горемычная Марья Львовна, - писал он ей в 1848 году. - Ваше положение так нас тронуло, что мы придумали меру довольно хорошую и решительную..." "Доверенность пишите на имя Коллежской Секретарши Авдотьи Яковлевны Панаевой и прибавьте фразу - с правом передоверия, кому она пожелает..." "А в конце прибавьте - в том, что сделает по сему делу Панаева или ее поверенный, я спорить и прекословить не буду" [287].

Так что нельзя утверждать, будто он не имел к этому делу никакого касательства: он именно и научил Марью Львовну довериться во всем Авдотье Яковлевне. Замечательно, что в своем письме к Марье Львовне он пишет не я, но *мы*:

- Мы придумали меру довольно хорошую...

- Мы можем теперь обещать... то есть говорит не от своего только имени, а и от имени обоих Панаевых, и тем устанавливает свою солидарность с их действиями. Ив.Ив.Панаев в своем письме к Марье Львовне тоже говорит от лица всех:

- Мы беремся устроить это...

- Мы не скрываем от вас ничего... [288].

Так что ответственность за ведение этого дела падает на них троих одинаково. Но Панаев - существо безответственное, а Некрасова недаром почитали великим практиком, финансовым гением. Естественно, что на него потом упала и самая большая ответственность.

Но, кажется, вся его вина только в том, что, под влиянием любимой женщины, он пожалел Марью Львовну и посоветовал ей начать против Огарева процесс.

Значит ли это, что он присвоил себе огаревские деньги? что он ограбил и разорил Марью Львовну? что он, как выражался по этому поводу Герцен, мошенник, мерзавец и вор? Нет, несколько не значит. Чуть только началась эта тяжба, Некрасов отстранился от нее совершенно, потеряв к ней всякий интерес, и с головой ушел в "Современник", который именно в те черные годы требовал огромной работы.

Во всяком случае, нет никаких доказательств, что он участвовал в дележе этих денег. Из писем Авдотьи Яковлевны к Ипполиту Панаеву явствует, что в пятидесятых годах она располагала какими-то весьма крупными суммами, которыми распоряжалась вполне самостоятельно, независимо от Некрасова, и что вообще ее денежные дела почти не соприкасались с некрасовскими. Даже за советами по поводу своих денежных дел обращалась она не к нему, но к Ипполиту Панаеву. А денежных дел у нее было много: тут и заемные письма, и векселя, и какой-то маклер, и какая-то ростовщица Севрюгина, и пособие бедным родственникам, - поразительно, сколько денег раздавала она бедным родственникам! Некрасов тут совсем в стороне. Эти деньги шли мимо него. Он о них не знал, не интересовался ими. Да и огаревское дело в то время уже всецело лежит на Панаевой. Она и сама в одном из писем берет ответственность за это дело на себя.

"Я должна, - пишет она, - окончить дело Огаревой как можно скорее и для этого вернуться в Россию. Это дело мучит меня страшно" [289].

Ясно, что в пятидесятых годах Некрасов не имел уже никакого отношения к этому делу.

Дело вели Шаншиев, Сатин, Павлов и, кажется, Ник.Ник.Тютчев, но замечательно, что, когда оно кончилось, все в один голос сказали, что виноват Некрасов. Такая у него была репутация. Никто не знал, совершил ли он этот темный поступок, но все так охотно и скоро поверили, что совершил его именно он. Похоже, что от него только такого поступка и ждали. Распусти такую клевету о другом, все хоть на миг усомнились бы, а тут с закрытыми глазами уверовали, так как у всех уже заранее подготовилось мнение, что Некрасов на это способен [290].

Конечно, о полной непричастности Некрасова к этому делу не может быть и речи. Известно, например, что контора его "Современника" уплачивала из году в год изрядные суммы Огареву. Значит, сам Некрасов признавал свой долг. Но в чем была его вина, мы не знаем.

Правда, есть слухи, будто Авдотья Яковлевна, присвоив огаревские деньги, отдала их своему мужу, Ивану Панаеву, а Иван Панаев вложил их в "Современник" и, таким образом, дал их Некрасову, но слухи эти, кажется, ни на чем не основаны [291].

"Кетчер обвинял тебя в огаревском деле, что по твоим советам поступала Авдотья Яковлевна, и, словом, что ты способен ко всякой низости", - писал Некрасову впоследствии Боткин [292], и именно эта всеобщая вера в его способность ко всякой низости сыграла здесь главную роль. Некрасов уже не оправдывался. Он и не пытался опровергать эти слухи. А слухи становились все громче и вскоре проникли в печать. В 1868 г. Герцен прямо заявил в своем "Колоколе", что Некрасов украл у Огарева больше ста тысяч франков, а через два-три года Лесков рассказал в одной своей петербургской брошюре, что Герцен не пустил Некрасова к себе в дом, так как между Некрасовым и женой Огарева возникли "денежные недоразумения" [293].

Некрасов словно не заметил этих выпадов: ни единым словом не отозвался на них.

IX

Итак, он способный ко всякой низости архимерзавец и вор, она злокачественная интриганка, - такова о них всеобщая молва.

Кто же она в самом деле такая? Хищница? Авантюристка? Интриганка?

Напротив, очень простая, добродушная женщина, то, что называется бельфам. Когда ей исполнилось наконец сорок лет и обаяние ее красоты перестало туманить мужчин, оказалось, что она просто не слишком далекая, не слишком образованная, но очень приятная женщина. Покуда она была в ореоле своей победительной молодости, мы только и слышали, что об ее удивительном, ни у кого не встречавшемся матово-смуглом румянце, об ее бархатном избалованно-кокетливом голосе, и мудрено ли, что она казалась тогда и остроумной, и изысканной, и поэтичной. Но вот ей сорок лет: она кругленькая, бойкая кумушка, очень полногрудая, хозяйственная, домовитая матрона. Уже не Eudoxie, но Авдотья - это имя к ней чрезвычайно идет.

Она именно Авдотья - бесхитростная, угощающая чаем и вареньем. Из любовницы стала экономкой, полезным, но малозаметным существом, у которого в сущности и нет никакой биографии. Потому-то о ней так мало написано, особенно об этой полосе ее жизни, потому-то ни один из тысячи знавших ее литераторов не оставил нам ее характеристики. Что же и писать об экономке? С ней здороваются очень учтиво и спешно идут в кабинет к хозяину, к Николаю Алексеевичу, тотчас же забывая о ней, а она зовет Андрея и велит отнести в кабинет два стакана чая с вареньем [294]. Конечно, я чуть-чуть преувеличиваю, все это было не так обнаженно, Некрасов изредка чувствовал к ней прежнюю бурную нежность, - но долго это длиться не могло, и на 43-м году своей жизни, вскоре после смерти Панаева, она, повторяю, ушла от него навсегда. Некрасов купил у нее за 14 тысяч рублей серебром Панаевскую долю "Современника" и выплачивал ей маленькую пенсию.

"Кроме того, - сообщает Жуковская, - он выдал ей векселями пятьдесят тысяч рублей, но "привыкши жить широко и хлебосольно", она продолжала свой прежний широкий образ жизни и очень скоро спустила 50 000, в чем ей помог ее муж, всегда беспечный [295].

Новое супружество было для нее тихой пристанью. На диво сохранившаяся, моложавая, она на пятом десятке умудрилась наконец-то стать матерью, и вся отдалась воспитанию неожиданной своей дочери, которой по возрасту годилась бы в бабушки. Муж, конечно, скоро кинул ее: он был не создан для единобрачной любви; да она и не нуждалась в его верности. Главное, что требовалось от него, он ей дал: ребенка. Исполнилась ее заветная мечта, - она мать, у нее прекрасная дочь, и больше ничего ей не нужно. Ее простенькую, незамысловатую душу всегда влекло к семейному уюту, к материнству. Она ведь была не мадам де Сталь, не Каролина Шлегель, а просто Авдотья, хорошая русская женщина, которая случайно очутилась в кругу великих людей.

Она оставила о них воспоминания, знаменитые свои мемуары, где чуть не в каждой главе мы читаем:

- Я приготовила Костомарову горячего *чаю*...

- Тургенев очень часто пил *чай* у меня...

- Разливая *чай* в столовой, я слышала, как ораторствовал Кукольник...

- Я стала разливать *чай*; Глинка как бы одушевился...

- Некрасов завел разговор с Добролюбовым, а я отправилась распорядиться, чтобы подали *чай*...

Мудрено ли, что эта элементарная, обывательски-незамысловатая женщина запомнила и о Тургеневе, и о Льве Толстом, и о Фете, и о Достоевском, и о Лермонтове лишь обывательские элементарные вещи, обеднила и упростила их души. Похоже, что она слушала симфонии великих маэстро, а услышала одного только чирика: чирик, чирик, где ты был? Не будем на нее за то сердиться: все же книга вышла у нее занимательная, отличная, живописная книга, полная драгоценнейших сведений. Конечно, в этой книге много сплетен, но эти сплетни тоже ей к лицу. Таково уж было воспитание Панаевой. Она выросла в театре, за кулисами, где все только и жили, что сплетнями. Шестилетняя, семилетняя девочка (она родилась в марте 1819 г.), она уже знала в подробности, кто с кем живет, кто кого содержит, у кого какой обожатель, кто кому наставил рога, и жадно впитывала в себя эту амурную грязь и запомнила ее на семьдесят лет. Потому-то мы так часто читаем в ее мемуарах:

- Невахович содержал Смирнову...
- Лажечников соблазнил барышню...
- Межевич свел интрижку с девицей...
- Будь Линская смазливая личиком, у нее нашелся бы покровитель из чиновников...
- Помещик пригласил к себе с улицы женщину...

Образования она не получила никакого. Ее отдали в пресловутую театральную школу, где, по ее собственным словам, у воспитанниц была одна мечта: найти себе богатого поклонника.

Полукокотская, полугаремная, бездельная, жеманная жизнь, с леденцами, цветами, амурами, томным глазением на улицу, где мимо окон целыми стадами по целым часам томно маршировали поклонники, - вот что такое была эта казенная школа - питомник смазливых любовниц для николаевских канцелярских хлыщей. Кроме как французскому лепету, там ничему не учили [296]. "Пучи из бента танцер полита", - расписался при получении жалованья один из окончивших школу, и эти каракули должны были обозначать: "Получил из Кабинета. Танцор Полетаев". Письма самой Eudoxie отличаются почти такой же орфографией. Она, несомненно, была самой безграмотной из русских писательниц. Она писала *опот* (опыт), *дерзский*, *счестное слово*, *учавствовать*. Те отрывки из ее писем, которые напечатаны выше, не воспроизводят подлинной ее орфографии, мы сочли это лишним. Нелегко вообразить, сколько приходилось Некрасову трудиться над исправлением ее повестей и рассказов [297].

Другая ее школа - Александрийский театр, но там, в угоду "канцелярской и апраксинской сволочи", ставились в большинстве случаев пьесы: "Вот так пилюли", "Не ест, а толстеет!", "Ай да французский язык!". "Женитьба" Гого-

440 *Корней Чуковский*

ля терпела провал; зато с несравненным успехом шла пьеса "Обезьяна жених или жених обезьяна", где в роли обезьяны балаганил паяц, специально приглашенный из цирка [298].

А дома было еще хуже, чем там. Ее мать была картежница... деспотка, вся кипящая закулисными дрязгами. Отец усталый, равнодушный ко всему, махнул рукой на все, кроме бильярда [299]. Говорят, что в своем первом романе, в "Семействе Тальниковых", она изобразила родителей [300]. Если это правда, то ее детство было поистине каторгой. Не странно ли, что все же она вышла такая добродушная и любящая. А она и вправду была по-настоящему добрая - бабьей, теплой, материнской добротой. Прочтите у нее в мемуарах страницы, посвященные страдальчески-погибающим людям, - Добролюбову, Мартынову, Белинскому, - вы почувствуете, что это могла написать только жалостливая хорошая женщина.

Ее беспрестанно тянуло ласкать и утешать кого-нибудь: то она возится со своими племянниками, то ухаживает за больным Добролюбовым, то няньчится с его осиротевшими братьями, то воспитывает побочную сестру Некрасова Лизаньку - вечно жаждет излить на кого-нибудь свои нерастраченные материнские чувства. Для маленьких Добролюбовых она была если не матерью, то щедрой и балующей теткой. Когда Добролюбов, больной, уехал за границу, она - сама больная и измученная семейными дрязгами, - прилепилась всей душой к его братьям: угощала их леденцами, катала в своей коляске по городу, играла с ними в разные детские игры, - словом, всячески старалась подсластить их безрадостное сиротское детство.

"Ей теперь не до нас с Ванечкой", - писал из заграницы Добролюбов, знавший, как тяжело она переживала в то время начавшееся охлаждение Некрасова, но, кажется, именно по этой причине она горячо ухватилась за них.

Вот что писал Добролюбову его дядя, Василий Иванович: "Володя весел, бывает каждый день у Авдотьи Яковлевны. Отправляется туда обедать и сидит часов до восьми-девяти. Иногда и позже приходит, когда Авдотья Яковлевна ездит с ним на острова".

И через несколько дней опять: "Она с ними ездила на острова, накупила игрушек, и они играют вместе..."

И через некоторое время опять: "Дети часто бывают у Авдотьи Яковлевны, и она по-прежнему их балует, покупая им игрушки и разъезжая с ними по островам и по Петербургу. Ваня часто у нее читает и пишет",

Ваня простудился, слег в постель. "Авдотья Яковлевна почти каждый день бывает у нас. Раз сидела целый вечер, и мы играли в лото; Ванечка выиграл и был крайне доволен. Денег она ему серебром надавала (на лакомство) до семи рублей, накупила рубашек, кофт и кофточек, карандашей, нож и прочие игрушки" [301].

Приехал Добролюбов, умирающий, она ухаживает за ним, как жена. Он умирает, она заботится о его братьях еще больше, отдает им все свои свободные дни - и особенно хлопочет о том, чтобы те, по молодости лет, не забыли, какой у них был удивительный брат, дарит им его портреты, рассказывает им о его жизни [302].

Конечно, в этом нет ничего героического, но и цинизма тут нет. Во всем, что она делала, чувствуется немудреная простодушная обыкновенная русская женщина, - нисколько не вампир и не интриганка, как принято ее изображать.

В сущности, она могла бы быть гораздо хуже. В одном из своих писем она говорит: "Иногда я думаю, что я не виновата в том, чем я сделалась. Что за детство варварское, что за унижительная юность, что за тревожная и одинокая молодость!" [303].

Х

Конечно, ее мемуары пристрастны. Она, например, терпеть не может Тургенева. Тургенев у нее на страницах и выжига, и фат, и фанфарон. Но ведь цель у нее благороднейшая: вознести и восславить Некрасова, - который был так тяжело перед ней виноват, - и посрамить, и обличить его врагов.

Некрасов выходит у нее под пером лучшим из людей, а все его враги нехорошими: и Тургенев, и Боткин, и Анненков.

Это в ней прекрасная черта - верность Некрасову, вдовья, посмертная преданность столь любимшему и столь мучившему ее человеку. Все ее суждения внушены ей Некрасовым. Она в своих мемуарах бранит того, кого бранил бы Некрасов, и хватит того, кого хвалил бы он. Ее книга как бы продиктована им. Когда эта книга писалась, Некрасов был уже давно в могиле, но Авдотья Яковлевна и через сорок лет после сожительства с ним смотрит на все его глазами, думает обо всем, как думал он. Это патетично и трогательно.

Ее мемуары считаются сплетническими; еще бы! Каких же других ожидать от нее мемуаров! Зато книга читается, как бульварный роман - самая аппетитная книга во всей нашей мемуарной словесности. Все в ней живописно, драматично, эффектно - так и видишь бойкую старушку, которая сидит у кофейника и звонко тараторит о былом. Что за беда, если она кое-что позабудет, напутает! Все же она видела редкостные, незабвенные вещи, знала изумительных людей! А навранное можно исправить. Я как-то взял карандаш и в два-три часа выправил всю ее книжку. Конечно, попадаются ошибки чудовищные: она, например, рассказывает, как Гоголь у нее на квартире встретился в 1847 году с Белинским, - между тем как Гоголь в эту пору был в Святой Земле, в Иерусалиме, а Белинский в Зальцбурне, в Саксонии, квартира же Панаевой была в Петербурге у Аничкина моста!

Таких ошибок у нее чрезвычайное множество. То встретит Огарева в Париже, когда тот у себя в деревне, то пошлет Некрасова в Марсель, когда тот в Новгородской губернии. Октябрь у нее превращается в май, Карловна в Павловну, Ротчев - в Рачера, а Делава в Деларю.

Но все же большинство эпизодов она запомнила и рассказала точно. Даже то, что она говорит о Тургеневе, ближе к истине, чем кажется сначала. Она, например, изображает Тургенева фатом, мечтающим о светских успехах; но ведь Тургенев и сам впоследствии говорил о себе: "Я был предрянной тогда: пошлый фат да еще с претензиями" [304].

Она пишет о страсти молодого Тургенева к сочинению разных небывалых историй; но куда резче об этой же страсти выражается Огарева-Тучкова: "Вчера явился Тургенев. Он здесь получил репутацию удивительного лгуна" [305].

Об этой же склонности автора "Записок Охотника" к сочинению разных небылиц говорит и его приятель П.В.Анненков в статье "Молодость И.С.Тургенева" [306].

Далее Панаева рассказывает, как Тургенев пригласил к себе на обед, на дачу, целую кучу гостей, в том числе и Белинского, а сам уехал неизвестно куда. Голодные гости прибыли в назначенный час - ни хозяина, ни обеда нет! Это тоже подтверждается фактами; по крайней мере Анненков и Фет повествуют о таких же эпизодах.

Даже мифическая история с Гоголем не совсем лишена основания. Что-то такое было. Некрасов рассказывал о своем свидании с Гоголем то же самое, теми же словами. Старуха перепутала даты, имена и фамилии - но что-то такое было.

Да она и не выдает свою книгу за точнейшее воспроизведение действительности. Она сама предупреждает читателя:

- У меня плохая память на фамилии...
- К несчастью, я страдаю отсутствием памяти на года и фамилии...
- Я забывчива на имена и фамилии... [307].

Не будем же придирчивы к ней. В ее мемуарах ровно столько отклонения от истины, сколько полагается во всех мемуарах. Законной нормы она не нарушила. Недаром такой требовательный историк, как Пыпин, отнесся к ней с полным доверием.

"О том довольно много, - пишет он, - о чем я слышал из других источников или сам знал, в этих воспоминаниях, может быть, при некоторых личных пристрастиях, много совсем справедливого" [308].

Она писала эту книжку в лютой бедности. Писала о своих роскошных обедах, о своих всемирно прославленных друзьях, о своих лакеях и каретах, а сама сидела на Песках, на Слоновой улице, в тесной, убогой квартирке, голодная, всеми забытая. Когда Некрасов был жив, он посылал ей изредка какие-то рубли, но, должно быть, неохотно и мало, потому что однажды один ехидный пиита послал ему такие стишки:

Экс-писатель бледный

Смеет вас просить

Экс-подруге бедной

Малость пособить.

Вы когда-то лиру

Посвящали ей,

Дайте ж на квартиру

Несколько рублей [309].

Некрасов умер в том же году, что и ее муж, - несколькими месяцами позже. Она пережила трех мужей, осталась без копейки и, просуществовав незаметно еще 15-16 лет, скончалась на семьдесят четвертом году 30 марта 1893 года и была погребена на Волковом кладбище рядом со своим последним мужем. Ее смерть была замечена немногими.

Теперь, кажется, ее забыли совсем, а не мешало бы, проходя по Литейному, мимо того желтого, длинного, трехэтажного дома, где, как сказано на мраморной доске, жил и скончался Некрасов, вспомнить смуглую, больше ротую, черноволосую, полную женщину, которая так часто смотрела заплаканными маслянистыми глазами на эту улицу из этого окна.

Ее образ живет на страницах Некрасова. Ей посвятил он такие стихи:

"Поражена потерей невозвратной", "Я не люблю иронии твоей", "Мы с тобой бестолковые люди", "Да, наша жизнь текла мятежно", "Так это шутка? Милая моя", "Давно - отвергнутый тобою", "Прости! Не помни дней паденья", "Тяжелый крест достался ей на долю", "Тяжелый год - сломил меня недуг", "Ах! что изгнанье, заточенье!", "Бьется сердце беспокойное", "Разбиты все привязанности".

Здесь ее право на память потомства.